

Н. П. ОГАРЕВУ

В этой книге всего больше говорится о двух
личностях. Одной уже нет¹, — ты еще остался,
а потому тебе, друг, по праву принадлежит она.

Искандер

1 июля 1860

Eagle's Nest Bournemouth

¹ Н. А. Герцен. — *Ред.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Детская
и университет
(1812–1834)*

Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть, и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

Н. Огарев («Юмор»)

ГЛАВА I

... — Вера Артамоновна, ну, расскажите мне еще разок, как французы приходили в Москву, — говаривал я, потягиваясь на своей кроватке, обшитой холстиной, чтоб я не вывалился, и завертываясь в стеганое одеяло.

— И! что это за рассказы, уж столько раз слышали, да и почивать пора, лучше завтра пораньше встанете, — отвечала обыкновенно старушка, которой столько же хотелось повторить свой любимый рассказ, сколько мне его слушать.

— Да вы немножко расскажите, ну как же вы узнали, ну с чего же началось?

— Так и началось. Папенька-то ваш, знаете какой, — все в долгий ящик откладывает; собирался, собирался, да вот и собрался! Все говорили: пора ехать, чего ждать? Почитай, в городе никого не оставалось. Нет, все с Павлом Ивановичем переговаривают, как вместе ехать, то тот не готов, то другой. Наконец-таки мы уложились, и коляска была готова; господа сели завтракать, вдруг наш кухмист взошел в столовую такой бледный да и докладывает: «Неприятель в Драгомиловскую заставу вступил». Так у нас у всех сердце и опустилось, — сила, мол, крестная с нами! Все переполошилось; пока мы суетились да ахали, смотрим — а по улице скачут драгуны в таких касках и с лошадиным хвостом сзади. Заставы все заперли, вот ваш папенька и остался у праздника, да и вы с ним; вас кормилица Дарья тогда еще грудью кормила, — такие были щедушные да слабые.

И я с гордостью улыбался, довольный, что принимал участие в войне.

— Сначала еще шло кое-как, первые дни то есть, ну, так, бывало, взойдут два-три солдата и показывают: нет ли выпить; поднесем им по рюмочке, как следует, они и уйдут, да еще сделают под козырек. А тут, видите, как пошли пожары, все больше да больше, сделалась такая неурядица, грабеж пошел и всякие ужасы. Мы тогда жили во флигеле у княжны¹, дом загорелся; вот Павел Иванович² говорит: «Пойдемте ко мне, мой дом каменный, стоит глубоко на дворе, стены капитальные». Пошли мы, и господа, и люди, все вместе, тут не было разбора; выходим на Тверской бульвар, а уж и деревья начинают гореть. Добрались мы наконец до голохвастовского дома, а он так и пышет, огонь из всех окон. Павел Иванович остолбенел, глазам не верит. За домом, знаете, большой сад, мы туда, думаем, там останемся сохранны; сели, пригорюнившись, на скамеечках, вдруг откуда ни возьмись ватага солдат, препьяных. Один бросился с Павла Ивановича дорожный тулупчик скидывать; старик не дает, солдат выхватил тесак да по лицу его и хватъ, так у них до кончины шрам и остался; другие принялись за нас, один солдат вырвал вас у кормилицы, развернул пеленки, нет ли де каких ассигнаций или брильянтов; видит, что ничего нет, так нарочно, азарник, изодрал пеленки да и бросил. Только они ушли, случилась вот какая беда. Помните нашего Платона, что в солдаты отдали, он сильно любил выпить, и был он в этот день очень в кураже; повязал себе саблю, так и ходил. Граф Ростопчин всем раздавал в арсенале за день до вступления неприятеля всякое оружие, вот и он промыслил себе саблю. Под вечер видит он, что драгун верхом въехал на двор; возле конюшни стояла лошадь, драгун хотел ее взять с собой, но только Платон стремглав бросился к нему и, уцепившись за поводья, сказал: «Лошадь на-

¹ У А. Б. Мещерской. — *Ред.*

² Голохвастов, муж меньшей сестры моего отца.

ша, я тебе ее не дам». Драгун погрозил ему пистолетом, да, видно, он не был заряжен; барин сам видел и закричал ему: «Оставь лошадь, не твое дело». Куда ты! Платон выхватил саблю да как хватит его по голове, драгун-то и покачнулся, а он его еще да еще. Ну, думаем мы, теперь пришла наша смерть, как увидят его товарищи, тут нам и конец. А Платон-то, как драгун свалился, схватил его за ноги и стащил в творило, так его и бросил, бедняжку, а еще он был жив. Лошадь его стоит, ни с места и бьет ногой землю, словно понимает; наши люди заперли ее в конюшню; должно быть, она там сгорела. Мы все скорей со двора долой, пожар-то все страшнее и страшнее. Измученные, не евши, взошли мы в какой-то уцелевший дом и бросились отдохнуть. Не прошло часу, наши люди с улицы кричат: «Выходите, выходите, огонь, огонь!» Тут я взяла кусок равендюка с бильярда и вернула вас от ночного ветра; добрались мы так до Тверской площади, тут французы тушили, потому что их набольший жил в губернаторском доме. Сели мы так просто на улице; караульные везде ходят, другие, верховые, ездят. А вы-то кричите, надсаждаетесь, у кормилицы молоко пропало, ни у кого ни куска хлеба. С нами была тогда Наталья Константиновна, знаете, бой-девка; она увидела, что в углу солдаты что-то едят, взяла вас — и прямо к ним, показывает: маленькому, мол, манже¹, они сначала посмотрели на нее так сурово да и говорят: «*алле, алле*»², а она их ругать — экие, мол, окаянные, такие-сякие; солдаты ничего не поняли, а таки вспрыгнули со смеха и дали ей для вас хлеба моченого с водой и ей дали краюшку. Утром рано подходит офицер и всех мужчин забрал, и вашего папеньку тоже, оставил одних женщин да раненого Павла Ивановича, и повел их тушить окольные дома. Так до самого вечера пробыли мы одни; сидим и плачем, да и только. В сумерки приходит барин и с ним какой-то офицер...

¹ Поесть (*фр. manger*). — *Ред.*

² Ступай (*фр. aller*). — *Ред.*

Позвольте мне сменить старушку и продолжать ее рассказ. Мой отец, окончив свою брандмайорскую должность, встретил у Страстного монастыря эскадрон итальянской конницы; он подошел к их начальнику и рассказал ему по-итальянски, в каком положении находится семья. Итальянец, услышав *la sua dolce favella*¹, обещал переговорить с герцогом Тревизским и предварительно поставить часового в предупреждение диких сцен вроде той, которая была в саду Голохвастова. С этим приказанием он отправил офицера с моим отцом. Услышав, что вся компания второй день ничего не ела, офицер повел всех в разбитую лавку; цветочный чай и левантский кофе были выброшены на пол вместе с большим количеством фиников, винных ягод, миндаля; люди наши набили себе ими карманы; в десерте недостатка не было. Часовой оказался чрезвычайно полезен: десять раз ватаги солдат придирались к несчастной кучке женщин и людей, расположившихся на кочевье в углу Тверской площади, но тотчас уходили по его приказу.

Мортье вспомнил, что он знал моего отца в Париже, и доложил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговицами, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в тронную залу Кремлевского дворца по зову императора французов.

Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Данилевского².

После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий смысл, пока не догадались, что смысл

¹ Милую родную речь (*um.*). — *Ред.*

² «Manuscrit de l'an 1812» А. де Фэна (1827); «Описание Отечественной войны в 1812 году» А. И. Михайловского-Данилевского (СПб., 1839. Ч. III). — *Ред.*

их очень часто был пошл, Наполеон разбил Ростоचना за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его не известны императору.

Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя.

— Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война.

После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск для выезда из Москвы.

— Я пропусков не велел никому давать. Зачем вы едете? Чего вы боитесь? Я велел открыть рынки.

Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь на Тверской площади среди неприятельских солдат не из самых приятных.

Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спросил:

— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.

— Я принял бы предложение в. в., — заметил ему мой отец, — но мне трудно ручаться.

— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?

— Je m'engage sur mon honneur, Sire¹.

— Этого довольно. Я пришлю за вами. Имеете вы в чем-нибудь нужду?

— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни в чем.

¹ Ручаюсь честью, государь (фр.). — Ред.

— Герцог Тревизский сделает что может.

Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдотель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после которых, в четыре часа утра, Мортье прислал за моим отцом адъютанта и отправил его в Кремль.

Пожар достиг в эти дни страшных размеров: накалившийся воздух, непрозрачный от дыма, становился невыносим от жара. Наполеон был одет и ходил по комнате озабоченный, сердитый, он начинал чувствовать, что опаленные лавры его скоро замерзнут и что тут не отделаешься такою шуткою, как в Египте. План войны был нелеп, это знали все, кроме Наполеона: Ней и Нарбон, Бертье и простые офицеры; на все возражения он отвечал каббалистическим словом «Москва»; в Москве догадался и он.

Когда мой отец взошел, Наполеон взял запечатанное письмо, лежавшее на столе, подал ему и сказал, откладываясь: «Я полагаюсь на ваше честное слово». На конверте было написано: «A mon frère l'Empereur Alexandre»¹.

Пропуск, данный моему отцу, до сих пор цел; он подписан герцогом Тревизским и внизу скреплен *московским* обер-полицмейстером Лессепсом. Несколько посторонних, узнав о пропуске, присоединились к нам, прося моего отца взять их под видом прислуги или родных. Для больного старика, для моей матери и кормилицы дали открытую линейку; остальные шли пешком. Несколько улан верхами провожали нас до русского арьергарда, в виду которого они пожелали счастливого пути и поскакали назад. Через минуту казаки окружили странных выходцев и повели в главную квартиру арьергарда. Тут начальствовали Винценгероде и Иловайский IV.

¹ Брату моему, императору Александру (*фр.*). — *Ред.*

Винценгероде, узнав о письме, объявил моему отцу, что он его немедленно отправит с двумя драгунами к государю в Петербург.

— Что делать с вашими? — спросил казацкий генерал Иловайский. — Здесь оставаться невозможно; они здесь не вне ружейных выстрелов, и со дня на день можно ждать серьезного дела.

Отец мой просил, если возможно, доставить нас в его ярославское имение, но заметил притом, что у него с собою нет ни копейки денег.

— Сочтемся после, — сказал Иловайский, — и будьте покойны, я даю вам слово их отправить.

Отца моего повезли на фельдъегерских по тогдашнему фашиннику. Нам Иловайский достал какую-то старую колымагу и отправил до ближнего города с партией французских пленников, под прикрытием казаков; он снабдил деньгами на прогоны до Ярославля и вообще сделал все, что мог в суете и тревоге военного времени.

Таково было мое первое путешествие по России; второе было без французских уланов, без уральских казаков и военнопленных, — я был один, возле меня сидел пьяный жандарм.

Отца моего привезли прямо к Аракчееву и у него в доме задержали. Граф спросил письмо, отец мой сказал о своем честном слове лично доставить его; граф обещал спросить у государя и на другой день письменно сообщил, что государь поручил ему взять письмо для немедленного доставления. В получении письма он дал расписку (и она цела). С месяц отец мой оставался арестованным в доме Аракчеева; к нему никого не пускали; один С. С. Шишков¹ приезжал, по приказанию государя, расспросить о подробностях пожара, вступления неприятеля и о свидании с Наполеоном; он был первый очевидец, явившийся в Петербург. Наконец Аракчеев объявил моему отцу, что император велел его освободить, не

¹ Правильно — А. С. Шишков. — *Ред.*

ставя ему в вину, что он взял пропуск от неприятельского начальства, что извинялось крайностью, в которой он находился. Освобождая его, Аракчеев велел немедленно ехать из Петербурга, не выдавшись ни с кем, кроме старшего брата¹, которому разрешено было проститься.

Приехавши в небольшую ярославскую деревеньку около ночи, отец мой застал нас в крестьянской избе (господского дома в этой деревне не было). Я спал на лавке под окном, окно затворялось плохо, снег, пробираясь в щель, заносил часть скамьи и лежал, не таявши, на оконнице.

Всё было в большом смущении, особенно моя мать. За несколько дней до приезда моего отца, утром, староста и несколько дворовых с поспешностью вошли в избу, где она жила, показывая ей что-то руками и требуя, чтоб она шла за ними. Моя мать не говорила тогда ни слова по-русски, она только поняла, что речь шла о Павле Ивановиче; она не знала, что думать; ей приходило в голову, что его убили или что его хотят убить и потом ее. Она взяла меня на руки и, ни живая, ни мертвая, дрожа всем телом, пошла за старостой. Голохвастов занимал другую избу: они вошли туда. Старик лежал действительно мертвый возле стола, за которым хотел бриться; громовой удар паралича мгновенно прекратил его жизнь.

Можно себе представить положение моей матери (ей было тогда семнадцать лет) среди этих *полудиких* людей с бородами, одетых в нагольные тулупы, говорящих на совершенно незнакомом языке, в небольшой закоптелой избе, и все это в ноябре месяце страшной зимы 1812 года. Ее единственная опора был Голохвастов; она дни, ночи плакала после его смерти. А *дикие* эти жалели ее от всей души, со всем радушием, со всей простотой своей, и староста посылал несколько раз сына в город за изюмом, пряниками, яблоками и баранками для нее.

¹ П. А. Яковлева. — *Ред.*

Лет через пятнадцать староста еще был жив и иногда приезжал в Москву, седой как лунь и плешивый; моя мать угощала его обыкновенно чаем и поминала с ним зиму 1812 года, как она его боялась и как они, не понимая друг друга, хлопотали о похоронах Павла Ивановича. Старик все еще называл мою мать, как тогда, Юлиза Ивановна, вместо Луиза, и рассказывал, как я вовсе не боялся его бороды и охотно ходил к нему на руки.

Из Ярославской губернии мы переехали в Тверскую и наконец через год перебрались в Москву. К тем порам воротился из Швеции брат моего отца¹, бывший посланником в Вестфалии и потом ездивший зачем-то к Бернадоту; он поселился в одном доме с нами.

Я еще, как сквозь сон, помню следы пожара, остававшиеся до начала двадцатых годов, большие обгорелые дома без рам, без крыш, обвалившиеся стены, пустыри, огороженные заборами, остатки печей и труб на них.

Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей. Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их. Это было действительно самое блестящее время петербургского периода; сознание силы давало новую жизнь; дела и заботы, казалось, были отложены на завтра, на будни, теперь хотелось попить на радостях победы.

Тут я еще больше наслушался о войне, чем от Веры Артамоновны. Я очень любил рассказы графа Милорадовича; он говорил с необычайною живостью, с резкой

¹ Л. А. Яковлев. — *Ред.*

мимикой, с громким смехом, и я не раз засыпал под них на диване за его спиной.

Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк. Но исключительное чувство национальности никогда до добра не доводит; меня оно довело до следующего. Между прочими у нас бывал граф Кенсона, французский эмигрант и генерал-лейтенант русской службы. Отчаянный роялист, он участвовал на знаменитом празднике, на котором королевские опричники топтали народную кокарду и где Мария-Антуанетта пила на погибель революции. Граф Кенсона, худой, стройный, высокий и седой старик, был тип учтивости и изящных манер. В Париже его ждало пэрство, он уже ездил поздравлять Людовика XVIII с местом и возвратился в Россию для продажи имения. Надобно было, на мою беду, чтоб вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне.

— Да ведь вы, стало, сражались против нас? — спросил я его пренаивно.

— Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe¹.

— Как, — сказал я, — вы француз и были в нашей армии? Это не может быть!

Отец мой строго взглянул на меня и замаял разговор. Граф геройски поправил дело; он сказал, обращаясь к моему отцу, что «ему нравятся такие *патриотические* чувства». Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. «Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять; граф из верности *своему* королю служил *нашему* императору». Действительно, я этого не понимал.

Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его — еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер, без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, — от-

¹ Нет, голубчик, нет, я был в русской армии (*фр.*). — *Ред.*

того ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещи-
чья натура брала верх над иностранными привычками?
Хозяйство было общее, именье нераздельное, огромная
дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка,
стало быть, были налицо.

За мной ходили две нянюшки — одна русская и од-
на немка; Вера Артамоновна и М-ме Прово были очень
добрые женщины, но мне было скучно смотреть, как
они целый день вяжут чулок и пикируются между собой,
а потому при всяком удобном случае я убегал на полови-
ну Сенатора (бывшего посланника), к моему единствен-
ному приятелю — к его камердинеру Кало.

Добрее, кротче, мягче я мало встречал людей. Совер-
шенно одинокий в России, разлученный со всеми свои-
ми, плохо говоривший по-русски, он имел женскую при-
вязанность ко мне. Я часы целые проводил в его комна-
те, докучал ему, притеснял его, шалил — он все выносил
с добродушной улыбкой, вырезывал мне всякие чудеса
из картонной бумаги, точил разные безделицы из дере-
ва (зато ведь как же я его и любил). По вечерам он при-
носил ко мне наверх из библиотеки книги с картинami —
путешествие Гмелина и Палласа и еще толстую книгу
«Свет в лицах», которая мне до того нравилась, что я ее
смотрел до тех пор, что даже кожаный переплет не вы-
нес. Кало часа по два показывал мне одни и те же изоб-
ражения, повторяя те же объяснения в тысячный раз.

Перед днем моего рождения и моих именин Кало за-
пирался в своей комнате; оттуда были слышны разные
звуки молотка и других инструментов; часто быстрыми
шагами проходил он по коридору, всякий раз запирая
на ключ свою дверь, то с кастрюлькой для клея, то с ка-
кими-то завернутыми в бумагу вещами. Можно себе
представить, как мне хотелось знать, что он готовит;
я подсылал дворовых мальчиков выведать, но Кало дер-
жал ухо остро. Мы как-то открыли на лестнице неболь-
шое отверстие, падавшее прямо в его комнату, но и оно
нам не помогло; видна была верхняя часть окна и порт-
рет Фридриха II с огромным носом, с огромной звездой

и с видом исхудалого коршуна. Дни за два шум переставал, комната была отворена — все в ней было по-старому, кой-где валялись только обрезки золотой и цветной бумаги; я краснел, снедаемый любопытством, но Кало, с натянуто-серьезным видом, не касался щекотливого предмета.

В мучениях доживал я до торжественного дня, в пять часов утра я уже просыпался и думал о приготовлениях Кало; часов в восемь являлся он сам, в белом галстуке, в белом жилете, в синем фраке и с пустыми руками. «Когда же это кончится? Не испортил ли он?» И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексеевны Голохвастовой уже приходил с завязанной в салфетке богатой игрушкой, и Сенатор уже приносил какие-нибудь чудеса, но беспокойное ожидание сюрприза мутило радость.

Вдруг, как-нибудь невзначай, после обеда или после чая, нянюшка говорила мне:

— Сойдите на минуточку вниз, вас спрашивает один человек.

«Вот оно», — думал я и опускался, скользя на руках по поручням лестницы. Двери в залу отворяются с шумом, играет музыка, транспарант с моим вензелем горит, дворовые мальчишки, одетые турками, подают мне конфеты, потом кукольная комедия или комнатный фейерверк. Кало в поту, суетится, все сам приводит в движение и не меньше меня в восторге.

Какие же подарки могли стать рядом с таким праздником, — я же никогда не любил *вещей*, бугор собственности и стяжания не был у меня развит ни в какой возраст, — усталость от неизвестности, множество свечек, фольги и запах пороха! Недоставало, может, одного — товарища, но я все ребячество провел в одиночестве и, стало, не был избалован с этой стороны.

У моего отца был еще брат, старший обоих¹, с которым он и Сенатор находились в открытом разрыве; не-

¹ А. А. Яковлев. — *Ред.*

смотря на то, они именем управляли вместе, то есть разоряли его сообща. Беспорядок тройного управления при ссоре был вопиющ. Два брата делали все наперекор старшему, он — им. Старосты и крестьяне теряли голову: один требует подвод, другой сена, третий дров, каждый распоряжается, каждый посылает своих поверенных. Старший брат назначает старосту — меньшие сменяют его через месяц, придравшись к какому-нибудь вздору, и назначают другого, которого старший брат не признает. При этом, как следует, сплетни, переносы, лазутчики, фавориты и на дне всего бедные крестьяне, не находившие ни расправы, ни защиты и которых тормозили в разные стороны, обременяли двойной работой и неустойчивым капризным требованиям.

Ссора между братьями имела первым следствием, поразившим их, потерю огромного процесса с графами Девиер, в котором они были правы. Имея один интерес, они не могли никогда согласиться в образе действия; противная партия, естественно, воспользовалась этим. Сверх потери большого и прекрасного имения, сенат приговорил каждого из братьев к уплате проторей и убытков *по тридцати тысячи* рублей ассигнациями. Этот урок раскрыл им глаза, и они решились разделиться.

⟨...⟩

Отцу моему досталось Васильевское, большое подмосковное имение в Ружском уезде. На следующий год мы жили там целое лето; в продолжение этого времени Сенатор купил себе дом на Арбате; мы приехали одни на нашу большую квартиру, опустевшую и мертвую. Вскоре потом и отец мой купил тоже дом в Старой Конюшенной.

⟨...⟩

Отец мой почти совсем не служил; воспитанный французским гувернером в доме набожной и благочестивой тетки, он лет шестнадцати поступил в Измайловский полк сержантом, послужил до павловского воцарения и вышел в отставку гвардии капитаном; в 1801-м он уехал за границу и прожил, скитаясь из страны в стра-

ну, до конца 1811 года. Он возвратился с моей матерью за три месяца до моего рождения и, проживши год в тверском именье после московского пожара, переехал на житье в Москву, стараясь как можно уединеннее и скучнее устроить жизнь. Живость брата ему мешала.

После переезда Сенатора все в доме стало принимать более и более угрюмый вид. Стены, мебель, слуги — все смотрело с неудовольствием, исподлобья; само собою разумеется, всех недовольнее был мой отец сам. Искусственная тишина, шепот, осторожные шаги прислуги выражали не внимание, а подавленность и страх. В комнатах все было неподвижно, пять-шесть лет одни и те же книги лежали на одних и тех же местах и в них те же заметки. В спальней и кабинете моего отца годы целые не передвигалась мебель, не отворялись окна. Уезжая в деревню, он брал ключ от своей комнаты в карман, чтоб без него не вздумали вымыть полов или почистить стен.

ГЛАВА II

Лет до десяти я не замечал ничего странного, особенного в моем положении; мне казалось естественно и просто, что я живу в доме моего отца, что у него на половине я держу себя чинно, что у моей матери другая половина, где я кричу и шалю сколько душе угодно. Сенатор баловал меня и дарил игрушки, Кало носил на руках, Вера Артамоновна одевала меня, клала спать и мыла в корыте, М-те Прово водила гулять и говорила со мной по-немецки; все шло своим порядком, а между тем я начал призадумываться.

Беглые замечания, неосторожно сказанные слова стали обращать мое внимание. Старушка Прово и вся дворня любили без памяти мою мать, боялись и вовсе не любили моего отца. Домашние сцены, возникавшие иногда между ними, служили часто темой разговоров

М-ме Прово с Верой Артамоновной, бравших всегда сторону моей матери.

Моя мать действительно имела много неприятностей. Женщина чрезвычайно добрая, но без твердой воли, она была совершенно подавлена моим отцом и, как всегда бывает с слабыми натурами, делала отчаянную оппозицию в мелочах и безделицах. По несчастью, именно в этих мелочах отец мой был почти всегда прав, и дело оканчивалось его торжеством.

— Я, право, — говаривала, например, М-ме Прово, — на месте барыни просто взяла бы да и уехала в Штутгарт; какая отрада — все капризы да неприятности, скупка смертная.

— Разумеется, — добавляла Вера Артамоновна, — да вот что связало по рукам и ногам, — и она указывала спичками чулка на меня. — Взять с собой — куда? к чему? Покинуть здесь одного, с нашими порядками, это и вчуже жаль!

Дети вообще проникательнее, нежели думают, они быстро рассеиваются, на время забывают, что их поразило, но упорно возвращаются, особенно ко всему таинственному или страшному, и допытываются с удивительной настойчивостью и ловкостью до истины.

Однажды настороженный, я в несколько недель узнал все подробности о встрече моего отца с моей матерью, о том, как она решила оставить родительский дом, как была спрятана в русском посольстве в Касселе, у Сенатора, и в мужском платье переехала границу; все это я узнал, ни разу не сделав никому ни одного вопроса.

Первое следствие этих открытий было отдаление от моего отца — за сцены, о которых я говорил. Я их видел и прежде, но мне казалось, что это в совершенном порядке; я так привык, что всё в доме, не исключая Сенатора, боялось моего отца, что он всем делал замечания, что не находил этого странным. Теперь я стал иначе понимать дело, и мысль, что доля всего выносится за меня, заволакивала иной раз темным и тяжелым облаком светлую, детскую фантазию.

Вторая мысль, укоренявшаяся во мне с того времени, состояла в том, что я гораздо меньше завишу от моего отца, нежели вообще дети. Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась.

Года через два или три, раз вечером, сидели у моего отца два товарища по полку: П. К. Эссен, оренбургский генерал-губернатор, и А. Н. Бахметев, бывший наместником в Бессарабии, генерал, которому под Бородиным оторвало ногу. Комната моя была возле зала, в которой они уселись. Между прочим мой отец сказал им, что он говорил с князем Юсуповым насчет определения меня на службу.

— Время терять нечего, — прибавил он, — вы знаете, что ему надобно долго служить, для того чтоб до чего-нибудь дослужиться.

— Что тебе, братец, за охота, — сказал добродушно Эссен, — делать из него писаря? Поручи мне это дело, я его запишу в уральские казаки, в офицеры его выведем, — это главное, потом своим чередом и пойдет, как мы все.

Мой отец не соглашался, говорил, что он разлюбил все военное, что он надеется поместить меня со временем где-нибудь при миссии в теплом крае, куда и он бы поехал оканчивать жизнь.

Бахметев, мало бравший участия в разговоре, сказал, вставая на своих костылях:

— Мне кажется, что вам следовало бы очень подумать о совете Петра Кирилловича. Не хотите записывать в Оренбург, можно и здесь записать. Мы с вами старые друзья, и я привык говорить с вами откровенно: штатской службой, университетом вы ни *вашему молодому человеку* не сделаете добра, ни пользы для общества. Он явным образом *в ложном положении*, одна военная служба может разом раскрыть карьеру и поправить его. Прежде чем он дойдет до того, что будет командовать ротой, все опасные мысли улягутся. Военная дисциплина — великая школа, дальнейшее зависит от него. Вы говорите, что он имеет способности, да разве в военную службу

идут одни дураки? А мы-то с вами, да и весь наш круг? Одно вы можете возразить, что ему дольше надобно служить до офицерского чина, да в этом-то именно мы и поможем вам.

Разговор этот стоил замечаний М-ме Прово и Веры Артамоновны. Мне тогда уже было лет тринадцать. Такие уроки, переворачиваемые на все стороны, разбираемые недели, месяцы в совершенном одиночестве, приносили свой плод. Результатом этого разговора было то, что я, мечтавший прежде, как все дети, о военной службе и мундире, чуть не плакавший о том, что мой отец хотел из меня сделать статского, вдруг охладел к военной службе и хотя не разом, но мало-помалу искоренил дотла любовь и нежность к эполетам, аксельбантам, лампасам. Еще раз, впрочем, потухающая страсть к мундиру вспыхнула. Родственник наш¹, учившийся в пансионе в Москве и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский уланский полк. В 1825 году он приезжал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел со всеми шнурками и шнуточками, с саблей и в четверугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем куцем мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а лядунка... что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые панталоны?

Приезд родственника потряс было действие генеральской речи, но вскоре обстоятельства снова и окончательно отклонили мой ум от военного мундира.

Внутренний результат дум о «ложном положении» был довольно сходен с тем, который я вывел из разговоров двух нянюшек. Я чувствовал себя свободнее от общества, которого вовсе не знал, чувствовал, что, в сущ-

¹ А. П. Кучин. — *Ред.*

ности, я оставлен на собственные свои силы, и с несколько детской заносчивостью думал, что покажу себя Алексею Николаевичу¹ с товарищами.

При всем этом можно себе представить, как томно и однообразно шло для меня время в странном аббатстве родительского дома. Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убегал, провожая их, на двор поиграть с дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большим почернелым комнатам с закрытыми окнами днем, едва освещенными вечером, ничего не делая или читая всякую всячину.

Передняя и девичья составляли единственное живое удовольствие, которое у меня оставалось. Тут мне было совершенное раздолье, я брал партию одних против других, судил и рядил вместе с моими приятелями их дела, знал все их секреты и никогда не проболтался в гостиной о тайнах передней.

На этом предмете нельзя не остановиться. Я, впрочем, вовсе не бегу от отступлений и эпизодов, — так идет всякий разговор, так идет самая жизнь.

Дети вообще любят слуг; родители запрещают им сближаться с ними, особенно в России; дети не слушают их, потому что в гостиной скучно, а в девичьей весело. В этом случае, как в тысяче других, родители не знают, что делают. Я никак не могу себе представить, чтоб наша передняя была вреднее для детей, чем наша «чайная» или «диванная». В передней дети перенимают грубые выражения и дурные манеры, это правда; но в гостиной они принимают грубые мысли и дурные чувства.

Самый приказ удаляться от людей, с которыми дети в беспрерывном сношении, безнравственен.

Много толкуют у нас о глубоком разврате слуг, особенно крепостных. Они, действительно, не отличаются

¹ Бахметеву. — *Ред.*

примерной строгостью поведения, нравственное падение их видно уже из того, что они слишком многое выносят, слишком редко возмущаются и дают отпор. Но не в этом дело. Я желал бы знать — которое сословие в России меньше их развращено? Неужели дворянство или чиновники? Быть может, духовенство?

Что же вы смеетесь?

Разве одни крестьяне найдут кой-какие права...

Разница между дворянами и дворовыми так же мала, как между их названиями. Я ненавижу, особенно после бед 1848 года, демагогическую лесть толпе, но аристократическую клевету на народ ненавижу еще больше. Представляя слуг и рабов распутными зверями, плантаторы отводят глаза другим и заглушают крики совести в себе. Мы редко лучше черни, но выражаемся мягче, ловчее скрываем эгоизм и страсти; наши желания не так грубы и не так явны от легости удовлетворения, от привычки не сдерживаться, мы просто богаче, сытее и вследствие этого взыскательнее. Когда граф Альмавива исчислил севильскому цирюльнику качества, которые он требует от слуги, Фигаро заметил, вздыхая: «Если слуге надобно иметь все эти достоинства, много ли найдется господ, годных быть лакеями?»¹

Разврат в России вообще не глубок, он больше дик и сален, шумен и груб, растрепан и бесстыден, чем глубокий. Духовенство, запершись дома, пьянствует и обжирается с купечеством. Дворянство пьянствует на белом свете, играет напропалую в карты, дерется с слугами, развратничает с горничными, ведет дурно свои дела и еще хуже семейную жизнь. Чиновники делают то же, но грязнее, да, сверх того, подличают перед начальниками и воруют по мелочи. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое, впрочем, где случится, похулы на руку не кладут.

⟨...⟩

¹ Из комедии П.-О. Бомарше «Севильский цирюльник». — Ред.